

Moises Naim. The End of Power: From Boardrooms to Battlefields and Churches to States, Why Being in Charge Isn't What It Used to Be. N. Y.: Basic Books, 2013. 306 p. [Моисеес Наим. Конец власти: Почему быть у власти всюду — от советов директоров компаний до театров боевых действий и от церквей до государств — нынче стало совсем не то, что в прежние времена]

Быть у власти нынче стало совсем не то, что в прежние времена, говорит Моисеес Наим, вынося это суждение на обложку своей книги. Действительно, кому же теперь не известно, что «жесткую власть» (принуждение), дескать, вытесняет «мягкая» (авторитет). Замечено, что в сфере власти у тяжеловесов руки все больше связаны, в то время как легковесы действуют намного оперативнее. От закосневших корпоративных «бегемотов» реальная власть уходит к энергичным новичкам, от окопавшихся во власти диктаторов — к толпам на площадях и в киберпространстве и т. д.

Но этим дело не ограничивается. Все это, продолжает Наим, лишь симптомы фундаментальной мутации власти, которую в XXI веке проще получить, но труднее использовать и легче потерять. Автор книги знает об этом из первых рук, потому что сам был министром (торговли и промышленности в правительстве Венесуэлы). Он также ссылается на других крупных функционеров власти, обладающих аналогичным опытом.

И суть не в том, что новые агентуры власти вытесняют старые, а в том, что они лишают их оперативной свободы, которую те всегда считали гарантированной (с. 196–197). И это ничем не компенсируется. Власть именно не перераспределяется, а исчезает, становится стерильной, приходит в упадок, деградирует, *загнивает (is decaying)*, умирает, клонится к закату, подходит к концу.

Власть автор определяет как «способность направлять или сдерживать в настоящем либо в будущем действия других групп или индивидов» (с. 23). Агентура власти опери-

рует, используя (1) принуждение, (2) закон и обычай, (3) внушение предпочтений, (4) вознаграждение (с. 72). Иными словами, агентура власти может действовать силой, воспитанием и промыванием мозгов, уговором или подкупом. Власть удерживается благодаря барьерам, мешающим соперникам (с. 10) получить доступ к ее инструментарию. Вот эти барьеры: режим выборов — от их полного отсутствия до скрытых ограничений избирательного права; контроль над армией и полицией, капиталом и другими ресурсами; бюджет на предвыборную кампанию; яркий бренд; моральный авторитет и личная харизма (там же).

До недавнего времени указанные барьеры оставались труднопреодолимыми, что делало власть «редким ресурсом». Вследствие этого она оставалась сконцентрирована в руках немногочисленных агентов — крупных организаций, централизованных и иерархичных. Это был триумф большого размера (формата), предсказанный, как напоминает Наим, Максом Вебером, который увидел в нем результат универсальной формальной рационализации и бюрократизации всего образа жизни (с. 41–42). Тот же процесс укрупнения модулей организованности Роналд Коуз (*Ronald Coase*) объяснил в чисто экономических терминах как экономию на масштабах (с. 43). Марксисты особо подчеркивали то, что рыночная конкуренция ведет к концентрации капитала и монополии (олигополии) и что это необратимый процесс. Влиятельными сторонниками такого представления в 1960-е годы были Чарльз Райт Миллс и Джордж Уильям Домхофф.

Общественное мнение под впечатлением наблюдавшейся долговременной тенденции к концентрации капитала и как будто бы убедительных объяснений этого явления в конце концов стало считать подобное представление аксиоматичным (*default assumption* — с. 50).

Между тем барьеры, позволявшие «бегемотам» сохранять монополию на власть, со временем становятся все менее надежными. «Власть и размер расходятся в разные стороны. И возрастающая неспособность крупных бюрократизированных модулей эффективно использовать власть меняет наш мир; микроагентуры власти (*micropowers*) изматывают, парализуют, размыывают, саботируют и обходят мегаагентуры (*megaplayers* — с. 52)».

Все это, по мнению Наима, происходит в результате «трех революций».

Первую он обозначает этикеткой «*More*» *revolution* (революция роста), имея в виду, что в мире всего становится больше (*more*) — растет число государств, их население, уровень жизни (*standards of living*), грамотность, количество производимых и потребляемых продуктов-товаров. С 1980-го по 2012 год всемирный средний класс вырос с одного до двух миллиардов человек. Грамотность к 1990-му достигла 75 проц., а к 2012 году составила уже 84 процента (с. 56). А «чем больше людей и чем они более благополучны, тем труднее ими распоряжаться» (с. 58). Инструменты принуждения теряют свою силу. Новая материальная реальность и лучшая информированность ограничивают сферу действия моральных самоограничений. Контроль массовых рынков не дает особых преимуществ, потому что в изобилии появляются экономически выгодные рыночные ниши, куда уходят как производители, так и потребители. Наконец, нащупать поощрительные стимулы становится сложно из-за того, что у адресатов стимулирования возрастает свобода выбора и трудно узнать, что они предпочитают и на какие стимулы будут реагировать. Короче «*More*» *revolution* одо-

левает (*overwhelms*) барьеры, затрудняя власти контроль и координацию (там же).

Вторую революцию Наим именует «*Mobility*» *revolution*, подразумевая все большую скорость и дальность перемещения людей, денег, идей, а также изменчивость ценностей (предпочтений). Нарастает размах миграций. Образуется новая беднота. Общество пополняется новыми не вполне инкорпорированными гражданами. Человеческий капиталы («мозги») все легче перемещаются в другие страны; впрочем, возвращаясь обратно с венчурными инвестициями как благодетели (*angel investor*). И то и другое — вызовы власти. Государство теперь должно контролировать границы и удерживать в своих пределах коренное население (или, наоборот, не выпускать посторонних). Потому что подвластные обходят барьеры. Государству как патрону не гарантирована лояльная клиентура (*No more captive audience* — с. 72). Все знают, что есть много альтернатив и что из них легко выбрать. Как найти стимулы, если люди, деньги и идеи все время в движении? (с. 72).

Третью революцию автор называет «ментальной» (*Mentality revolution*), имея в виду необратимые и глубокие изменения в образе мыслей, чаяниях и намерениях человека, включая трансформацию ожиданий и установок по отношению к власти (падение доверия к институтам власти и к правительству). В середине 1960-х в США властям доверяли 75 проц. населения, а к началу 1980-х годов доверие упало до 25 процентов (с. 68). От власти ждут теперь прозрачности, справедливости, моральной полноценности, соблюдения прав собственности. Складывается глобальная система ценностей, и все теперь ориентируются на усиленно пропагандируемые образцы (с. 69). Ничего теперь не принимается на веру. Инстинктивного почтения к авторитету теперь больше нет. Умонастроения меняются легче, а готовность менять предпочтения возрастает. Лояльность

граждан стоит государству все дороже, а стимулы поддерживать статус-кво слабеют (с. 72). Короче говоря, перестройка ментальности разрушает барьеры, оберегающие монополию власти. Эта третья из революций «порождает скептицизм по поводу политической системы вообще» (с. 77).

Как все это похоже на лозунги горбачёвской перестройки — «разнообразии» (определенно подразумевалось), «ускорение» и «новое мышление» (громко провозглашались). Разница, впрочем, в том, что КПСС в конце 1980-х только еще призывала к переменам, а Наим говорит обо всем этом как об уже далеко зашедшем процессе. КПСС выбрала тогда неправильную модальность. Привыкнув думать, что без ее инициативы в обществе ничего не происходит, она собиралась осуществлять то, что в советском обществе, как и в западном, было уже на полном ходу, что и привело к коллапсу советской политической системы. Автор, разумеется, вспоминает этот коллапс как особо яркую иллюстрацию «загнивания» власти (с. 28, 139, 157). То, что произошло с СССР, больше всего похоже на то, чем Наим теперь грозит Западу и всему миру. Но если так, то коллапс Советского Союза оказывается не более чем предвестником коллапса всемирно-исторического. Или?

Наим далее говорит, что все три революции хорошо видны, но мало кто отдает себе отчет в их нарастающих последствиях. А между тем это меняет «условия, в которых агентуры власти реализуют ее, прибегая ко всем известным формам — принуждению, вменению в обязанность, убеждению и поощрению» (с. 73). Затем автор описывает эти новые условия в разных сферах: (1) мировой порядок, (2) национальное политическое пространство, (3) экономика.

В контексте международных отношений уже одно только «размножение» суверенных государств меняет условия оперирования властью (с. 81–82), затрудняя гегемонию. Одновременно государство перестает быть

единственным источником современной военной силы, а вместе с этим приходит конец и монополии на применение силы. Вместо этого США, например, пытаются реализовать свое влияние в бесчисленных договорах. Их список занимает том в 500 страниц (*Department of State. Treaties in Force: A List of Treaties and Other International Agreements of the United States in Force on January 1, 2012*). Но активизация «мягкой силы» не очень-то компенсирует паралич «жесткой силы». Согласно всем опросам, авторитет США вновь падает после некоторого подъема, связанного с избранием Барака Обамы президентом. Многие страны сознательно пытаются теперь наращивать свою «мягкую силу», но это ненадежный ресурс, подверженный конъюнктуре (с. 147–148). В качестве симптома деградации власти Наим рассматривает и кризис классической формализованной дипломатии, на смену которой приходит быстро растущая сеть учрежденных государством негосударственных организаций (*government-organized nongovernmental organization – GONGO*). Государства их создают, так как не могут реализовать свое влияние в рамках формальной (чисто межгосударственной) системы международных отношений (с. 154).

Нечто подобное происходит и внутри государственных общностей. Партийная лояльность избирателей становится все слабее; независимых избирателей теперь больше, чем партийных. На политической арене все чаще появляются, оказывая все больше влияния, внесистемные агентуры. Автор называет их «новыми» (с. 78–79), но это отнюдь не новый, а просто, казалось бы, вымерший тип политика — «демагоги». Ставленникам истеблишмента все труднее выступать в роли лидеров. С ними успешно конкурируют любители (с. 100).

Во второй половине XX века важные выборы, если брать весь мир, проводятся дважды в месяц (с. 87). Правительства однопартийного большинства формируются все реже.

Последний раз ощутимым большинством (59 проц.) на американских президентских выборах победил Роналд Рейган в 1984-м, с тех пор результат был всегда очень близок к 50:50. Правящие партии теряют все больше голосов на следующих выборах. Все чаще правительства уходят в отставку до конца срока. Утверждение кандидатов на министерские посты теперь тянется слишком долго (с. 90–91). Праймериз — новинка в США с конца 1960-х годов (с. 93) — тоже не способствуют эффективности власти. Влияние от монолитных партий переходит теперь к внутрипартийным фракциям (с. 91–95), конкурирующим друг с другом и сменяющим друг друга. Из центра (столицы) и от центральной исполнительной власти полномочия переходят на места (с. 95). Возникают все новые электораты (с. 96), в частности в результате территориального дробления администрации, процесса федерализации и появления новых субъектов федераций (с. 96–97). Все более автономными становятся города. Интересное новое явление — решение политических проблем по суду — все чаще практикуется повсюду, особенно живописны несколько случаев такого рода в Таиланде (с. 98–99). Подобная практика еще больше ограничивает возможности исполнительной власти.

Необходимость удерживать инвесторов в стране лишает правительство значительной части инструментария экономической политики и свободы действий, а это означает усечение экономических прерогатив государства¹. Партии больше не сублимируют интересы масс, слишком для этого фрагментированных; идейное единство становится невозможно (с. 104), идейная инициатива уходит к НГО (с. 105). Протестные акции стали повседневностью. Так, в Китае фиксируется до 180 тысяч протестов в год (с. 77). В условиях гиперконкуренции на «политическом рынке» политик с амбициями вынужден теперь прежде всего заключать соглашения со смежниками и отбиваться в политическом пространстве с постоянно меня-

ющейся конфигурацией от целой армии агентур — других партий, активистов, держателей фондов, инспираторов общественного мнения, альтернативной прессы (*citizen journalists* — специфически американское явление)², надзорных организаций и адвокатов (с. 105).

Можно было бы надеяться, что деградация политических институтов компенсируется консолидацией эффективных агентур реального господства в сфере реального ресурса власти — денег, капитала. Но Наим считает, что в области экономики наблюдаются те же тенденции. Правда, в данном случае картина, нарисованная им, выглядит менее убедительно.

В крупном бизнесе, пишет Наим, агентура на вершине теперь расширена и быстро ротируется, а свобода ее действий более ограничена, чем раньше (с. 160–162). Текучка кадров на верхних этажах крупного корпоративного бизнеса нарастает (с. 163–165). Казавшаяся еще недавно неуклонной тенденция к концентрации капитала теперь оставлена и даже повернута вспять — на этом сейчас настаивают многие исследователи³.

Тут, мне кажется, такие категорические утверждения неосторожны. Разными способами расчетов концентрации капитала можно получить разные результаты. Кроме того, господство на рынке теперь не сводится к концентрации капитала или оборота (с. 169).

Барьеры входа на рынок, продолжает Наим, становятся более проницаемы благодаря интернету и дерегуляции: 25 проц. роста международной торговли связано со снижением тарифов. Новые технологии позволяют вернуться к малоформатным предприятиям. Постоянное технологическое обновление обостряет конкуренцию и подрывает позиции на рынке старых гигантов (с. 171–174).

Все это так, но в этой сфере трудно не заметить и контртенденции — особенно в новых сферах коммерческой активности — меди, индустрии, шоу-бизнесе, спортбизнесе. Вообще, конфигурация этих экономических

пространств не вполне аналогична конфигурации сфер традиционной индустрии и нуждается в более сложных методиках описания

Доступность кредита и мультипликация агентов нововведений (с. 181–183) обостряют конкуренцию и ослабляют позиции лидеров. Хедж-фонды на традиционных финансовых рынках выглядят, как остроумно подметил Наим, такими сомалийскими пиратами рядом с современным флотом (с. 191).

Так-то оно так, но как насчет концентрации финансового капитала, раздающего кредиты? А будущее хеджирования и в особенности отношений между хедж-фондами и традиционным финансовым капиталом пока туманно.

Растет доля нематериальных фондов, где бренд составляет до 70 проц. (Макдональдс) стоимости фирмы. Это, как думает автор, помогает деконцентрации (с. 175), поскольку бренды труднее защищать, чем материальные фонды: новые агентства на рынке наводняют его новыми именами (с. 179–180).

Это, боюсь, не совсем очевидно.

Концентрация символического капитала — малоисследованное явление. Потребитель консервативен и конформен — он тянется к готовым репутациям; новые звезды на рынке культуроваров загораются пачками каждый день, но тут же гаснут. Поэтому так распространена практика подделок и имитаций.

Наоборот, вполне очевидно, что деконцентрации способствует аутсорсинг, но не вполне ясно будущее самого аутсорсинга. Из Америки поступает все новая информация о возвращении на родину производств, ранее экспортированных. Не говоря уже о том, что крыша рассеянных производств остается та же.

Появляются новые хозяйственные агентства на базе новых ресурсов — это пока тоже ведет к деконцентрации, но остается неизвестно, в какой мере сами эти новые ресурсы будут склонны к концентрации (с. 176–177).

Понятие «естественная монополия», как замечает автор книги, теперь исчезло из эконо-

номического лексикона (с. 178), а она была нерушимым оплотом концентрации. Нельзя не согласиться, что целый ряд считавшихся неделимыми производств и услуг с 1980-х годов подвергся расчленению, но результаты получились неоднозначные, и обратная тенденция вовсе не исключена. Не говоря уже о том, что могут появиться новые сферы господства естественных монополий.

Парадокс в том, что корпорации становятся все крупнее, возникают все чаще и являются политически влиятельными, но в то же время и более неустойчивыми (с. 191). Похоже на правду, но в ходе недавнего кризиса как будто обнаружилось обратное. Цельный ряд финансовых агентств оказались слишком крупными, чтобы можно было допустить их банкротство и ликвидацию.

Картина в сфере экономики, таким образом, совсем не так однозначна, как в политике и как это выглядит у Наима. Из-за этого позволительно предположить, что «власть» не столько «загнивает», сколько все больше переходит в другое пространство — пространство финансового капитала, что издавна вызывало такое недовольство у марксистов и к чему так одобрительно относился, например, радикальный либертариий Фридрих фон Хайек, мечтавший о метаморфировании общества в рынок.

Но, несмотря на все сомнения, я не буду сейчас обсуждать эту сторону дела, а все-таки *ad hoc* соглашусь с суждением Наима по поводу общей тенденции в обществе: если не все, то очень многие поля неизменного господства стали сферой непрерывного конфликта между более сопоставимыми по оперативным возможностям агентствами — конкуренции и сопротивления. Вопрос в том, как к этому относиться

Усматривая во всем этом приближение «конца власти», Наим не скрывает своего беспокойства. Власть, говорит он, имеет социальную функцию: она нужна не только для доминирования — она организует сообщества (с. 17). Деградации власти, говорит Наим,

можно было бы только радоваться. Страны, где были деспотические (авторитарные) режимы, демократизируются и либерализуются.

Но и демократиям это бросает вызов (с. 106). Там, где все могут блокировать все что угодно, тормозятся или не принимаются вообще нужные решения и наступает паралич (с. 18). И чем более неуверена в себе и чем больше дает осечек власть, тем больше мы все вынуждены руководствоваться краткосрочными стимулами и опасениями и тем меньше способны планировать наперед свои действия и определять свое будущее (там же). В таких условиях правительства теряют эффективность. Нагнетается экстремизм. Нарастает сетевая какофония. Процветает жульничество, поскольку снижается уровень социального контроля — важнейшей функции современного государства. Конкуренция истощает и разрушает ее участников. Наблюдается перебор сдержек и противовесов (с. 221—227). Возрастает опасность патологий, среди которых: (1) беспорядок и застой; (2) декалфикация кадров и потеря знания; (3) банализация общественных движений, особенно легко симулируемых в интернет-сетях, чему придумана эффектная этикетка *slacktivism*⁴; (4) сеть с ее шумом и отвлечениями затрудняет становление серьезных политических сил и поощряет краткосрочную вовлеченность; (5) отчуждение (с. 227—232).

Все это вместе означает нарастание хаоса и обозначается словом «энтропия». Оно и появляется в книге, хотя и не более как реминисценция⁵. Отсюда, как говорит сам Наим, «центральная идея его книги»: «чрезмерное ослабление власти и неспособность власть имущих властвовать (*leading actors to lead*) столь же опасны, как и концентрация власти в руках немногих» (с. 224—225). Это представление, безусловно, исполнено здравого смысла, и нет никаких оснований его оспаривать. Но какое ослабление власти нужно считать чрезмерным? И можно ли считать, что нарастание беспорядка (энтропия) есть эпифеномен ослабления власти?

Во-первых, оба этих процесса очень трудно измерить. Особенно интуитивно предполагаемое нарастание энтропии. Разве можно с уверенностью сказать, что мир, терзаемый «Аль-Каидой», менее упорядочен, чем мир двух мировых войн?

Во-вторых, если мы все же будем считать, что беспорядок нарастает, то само по себе это не обязательно означает, что власть исчезает. Патологии, на которые указывает автор, можно, если угодно, объяснить не дефицитом власти, а, наоборот, ее избытком, то есть не ослаблением агентур легитимной власти, а их сохраняющейся до сих пор чрезмерной полномочностью. Особенно, если считать «власть» синонимом «господства». Кстати, сейчас именно такое представление и доминирует, с чем Наим и пытается бороться

Руссоисты, анархисты и коммунисты всегда настаивали, что вообще все беды в обществе и нарастание его энтропии происходят от отношений господства. Они связывали «загнивание» позднего капитализма именно с концентрацией капитала. Мелкая буржуазия сопротивлялась. Фритц Шумахер в 1960-е годы провозгласил, что *small is beautiful*. Самому Веберу, при всей его зачарованности бюрократией и харизмой, было неспокойно. Среди скептиков оказался и президент Дуайт Эйзенхауэр, осуждавший «неподобающее влияние военно-промышленного комплекса» (с. 49). Не обязательно придерживаться подобного взгляда, но и игнорировать аргументы этого подхода тоже нельзя.

Что именно происходит сейчас и каков пока баланс происходящего, еще не очень-то понятно. Кризис порядка, гарантируемого институционализированными отношениями господства, как будто хорошо заметен, а вот как он будет преодолеваться, неизвестно. Наим завершает свои рассуждения о «конце власти» так: «Мы накануне революционной волны позитивных политических и институциональных новаций» (с. 243). И далее:

«Новая волна обновления политической сферы набирает высоту, и она будет покруче предыдущей» (с. 244). «Предыдущая», надо полагать, это волна «модернизации» XVII–XIX веков. Как же мир в результате этого обновления будет выглядеть? Каким он представляется самому автору?

В сфере мирового порядка, по мнению Наима, рассчитывать на то, что когда-то появится новый гегемон и восстановит контроль, — пустое дело. Более вероятно, считает он, *coalition of the willing*, действующая в обход международных организаций и напрямую, как США в Ираке. Такие коалиции могут быть постоянными или временными, и в них могут входить или самые заинтересованные, или самые дееспособные участники; они могут иметь широкую либо узкую программу действий. Этот вариант он называет «минилатерализмом» (с. 156),⁶.

В сфере национальной политической жизни требуется, чтобы «демократические общества были готовы предоставить больше власти тем, кто правит», хотя это «очень трудно сделать» (с. 237). Для этого необходимо вернуть доверие граждан к политической сфере и политическим лидерам. Далее, для этого надо укрепить политические партии. Они утратили теперь авторитет — объяснимо и заслуженно (яркие примеры Италия, Россия, Венесуэла), но движения и НГО их не заменяют. Надо бы вовлечь людей в партийно-политическую активность. Партии должны изменить способы рекрутирования, организационную структуру и оперативные методы.

Итак, обновление пространства власти означает коллективную гегемонию в мире и усовершенствованную партократию. Это либерально-консервативный взгляд. Хотя бы уже потому, что он больше похож на реставрацию, чем на реформирование пространства власти. Но он консервативен по духу еще и потому, что в его основании лежит консервативное представление о господстве как гаранте порядка.

Похоже, что в России, опередившей (в бытность свою СССР) остальной мир в том, что касается «деградации» власти, теперь правят единомышленники Наима, спохватившиеся, что процесс зашел слишком далеко, и опять раньше всех повернувшие обратно. Было бы интересно знать, как к этой реставрации отнесётся Наим.

Наим согласен, что порядок может поддерживаться на основе отношений не только господства, но и сотрудничества агентур, соблюдающих общие для всех правила. Есть много способов, говорит он, поддерживать порядок в среде, где власть рассеяна, текуча и деградирует. Это — федерализм, политические союзы и коалиции, международные организации, согласованные и навязанные сверху правила и нормы, сдержки и противовесы между разными отраслями правительства, моральные и идеологические обязательства в парадигмах христианства, ислама, социал-демократии или социализма. Все это уже было со времен греческих городов-государств (с. 225).

Но далее следуют скептические оговорки. Упадок власти обостряет и осложняет проблему коллективных действий тоже. Это особенно заметно на международной арене. Коллективное действие всегда тормозится тем, что все выжидает в надежде на то, что кто-то один возьмет на себя расходы и ответственность (с. 226–227). Но и эта возможность блокируется деградацией власти, потому что, во-первых, другие нации способны все больше не подчиняться, и, во-вторых, сами коалиции очень неустойчивы и внутри себя расколоты (с. 225–227).

Или, можно добавить, наоборот, действующие лица не доверяют друг другу, и в особенности слабые — сильным.

Нынешние процедуры принятия коллективных решений таковы, что, как правило, нужные решения блокируются или тормозятся регулярными вето, длительными обсуждениями и согласованиями. Парадокс в том,

что именно многочисленные международные организации оказываются главными очагами бездействия (с. 152). Международные организации типа ООН и Бреттон-Вудских, созданные после Второй мировой войны, запаздывают со своими решениями и не имеют достаточных полномочий для их выполнения.

Так или иначе, существующие практики сотрудничества неэффективны. Тезис «конец власти» относится и к ним. И следует вывод: «Значит ли это, что мы неудержимо движемся к новому состоянию войны всех против всех, как это выглядит у Гоббса? Придется ответить “да”, если мы так и неотреагируем на загнивание власти и не признаем, что нынешние способы международного сотрудничества, как межправительственного, так и внеправительственного, должны быть изменены» (с. 158).

Автор совершенно прав, когда утверждает, что общественная рефлексия сейчас неадекватна этой проблеме. И чтобы продвинуться вперед, прежде всего, предстоит изменить содержание разговора о власти (*refocus the conversation*). Как он надеется, именно этому «помогает его тезис» (с. 141), поскольку расходит с господствующим представлением

(с. 9). Соответственно, «понимание, что власть деградирует, — это первый шаг вперед к заново рожденному миру» (с. 19).

Дает ли нам понятие «конец власти» («загнивание власти») какие-то значительные интеллектуально-познавательные преимущества, я не вполне уверен. Мне кажется, что для этого более продуктивна казуистика вокруг соотношения понятий «власть» и «порядок», а также вокруг связи феномена власти с отношениями господства и кооперации. Будущее покажет, будет ли тезис «конец власти» востребован для нашего познавательного дискурса. Но независимо от этого заявленный тезис Мосеса Наима — сильная интеллектуально-политическая провокация, и она продуктивна для мобилизации общественного мнения. Каким стало в свое время заявление Фукуямы о «конце истории». Обе эти формулы имеют ту же поэтику, что и формула «конец света», а она поддерживает среди людей атмосферу бдительности и, стало быть, не дает заржаветь гомеостатическому механизму общества уже не одно тысячелетие. *Lordre est mort? Vive l'ordre.* ■

АЛЕКСАНДР КУСТАРЕВ

ПРИМЕЧАНИЯ ¹ Автор ссылается на важную работу: Liberation Technology: Social Media and the Struggle for Democracy / L. Diamond, M. F. Plattner (eds). Johns Hopkins Univ. Press, 2012 (A Journal of Democracy Book). P. 102.

² <http://journalism.about.com/od/citizenjournalism/a/whatiscitizen.htm>

³ См., например: *Ghemavat P. World. 3.0: Global Prosperity and How to Achieve It*. Boston: Harvard Business Review Press, 2011.

⁴ Термин Евгения Морозова (Evgeny Morozov), автора книги «The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom» (Public Affairs, 2011). Образован путем слияния сленгового слова *slacker* (англ. лентяй, разгильдяй, халтурщик) и *activity*. Слективизм «означает деятельность,

которая заключается в простом клике мышкой. То есть подлинная общественная активность подменяется неким фантомом, когда человеку кажется, что достаточно кликнуть мышкой, чтобы почувствовать свою общественную значимость. Пресловутые лайки, которые ставит пользователь, сидя на диване, стали символом подмены реальных действий» (<http://polemika.com.ua/news-86720.html>).

⁵ Автор ссылается на интересную статью: *Schweller R. Ennui Becomes Us // The National Interest*. 2009. Dec. 16.

⁶ В статье «Кем и как управляется мир» я пользовался этикетками «имперский концерт» и «всемирно-имперский клуб». См.: *Pro et Contra*. Т. 11. № 6. 2007. Ноябрь.—дек. С. 6—19.